

© 2000 г. О.Н. ТРУБАЧЕВ

ИЗ ИСТОРИИ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО ОСВОЕНИЯ

"Много ли мы знали, например, в начале нашего века о субстратной и ареальной лингвистике?"

В.И. Абаев. Избранные труды. Т. II, с. 115.

I

Тема, вынесенная в заглавие, касается нескольких смежных наук, в их числе истории, археологии, языкознания. Наверное, справедливо считается, что первые две из них лучше осязают человека в истории, поэтому с них и начнем, не теряя, впрочем, связи и с языкознанием, к которому целиком обратимся в конечном счете, и памятуя об известной ограниченности возможностей каждой из названных дисциплин (истории, связанной письменными источниками, археологии, чьи реалии безгласны, и языкознания, которого возможности также не беспредельны). Обыкновенно черпать поэтому дополнительные аргументы из соседних дисциплин достаточно распространено, было бы искусственно стремиться избегать его, совокупная картина бывает интересна и поучительна (крайних случаев, когда превышена мера в использовании дополнительных аргументов, что влечет за собой обвинение в эклектизме, касаться не будем).

Предлагаемый очерк не может претендовать на исчерпанность специальной литературы, а также на сколько-нибудь широкий охват заявленной темы. Пришлось сделать выбор, очевидный для нас в данном случае уже с самого начала. Поэтому мы остановились на комплексе проблем, связанных с племенем вятичей, оставив сейчас в стороне другие проблемы, тоже, вероятно, большие. И хотя, например, в стороне при этом осталось самое крупное древнерусское племя кривичей, наше внимание целиком привлекли вятичи, и мы постараемся в дальнейшем объяснить, что предмет действительно заслуживает того. Таким образом, излагаемые в дальнейшем наши поиски и наблюдения обещают обрести характер некой апологии вятичей (если иметь в виду, что апология является в известном смысле и оправданием интереса к предмету и – прославлением его).

История застала вятичей в положении самого крайнего славянского племени на востоке [Иловайский 1858: 8]. Уже первый наш знаменитый летописец Нестор [Повесть временных лет 1978: 30–31] характеризует их как крайне отсталых и диких людей, живущих наподобие зверей в лесу, едящих все нечистое, сквернословящих, не стыдясь родителей и женщин рода, и, конечно, нехристиан. Что-то из этой негативной картины, наверное, отвечало тогдашней действительности начала XII века, а что-то оказывалось и на тот час откровенным преувеличением, говоря языком нынешним – политической пропагандой (ср. [Никольская 1981: 10]). Преподобный Нестор был киевским полянином, и вятичи, не сразу покорившиеся Киеву, такой оценки в его глазах заслуживали. Мы сейчас, по прошествии веков, смотрим на дело иначе, спокойнее, многое изжило время, хотя – как знать, может быть, не все. Вообще говоря, именно с вятичами связывается ряд противоречий или парадоксов, известных или менее

известных. Уже один из первых историков готов, опираясь на свидетельство Нестора, признать, что они не имели земледелия [Иловайский 1858: 9], но сразу вслед за этим, на основе летописных же данных об уплате вятичами дани Святославу и Владимиру, то есть в достаточно раннее время, "по шелягу с плуга", заключает, что земледелие они знали [Там же: 12].

И эта склонность судить о вятичах в духе парадоксов, что любопытно, сохраняется у историков вплоть до наших времен, побуждая нас к тому, чтобы посмотреть на этих вятичей как на самое русское из племен (суждение, как увидим далее, тоже достаточно парадоксальное). Виднейший наш историк, акад. М.Н. Тихомиров, в своей книге "Древнерусские города" говорит о "глухой земле вятичей", с тем, чтобы чуть дальше признать, что "в середине XII в. страна вятичей была совсем не столь глухой, как обычно представляется, а наполненной городками" [Тихомиров 1956: 12, 32]. Кстати, все в том же парадоксальном духе – о "городках" или городах у вятичей, о которых будто бы можно говорить "не ранее XII века", но в том же XII веке их вдруг оказывается там поразительно много, см. [Иловайский 1858: 9, 50]. Складывается впечатление, что, помимо стойкой предвзятости суждений, в этом разное повинен и недостаток информации, и у нас есть основания поверить новейшему историку-археологу, когда он говорит о расцвете городской культуры на Средней Оке (куда область вятичей также простиралась, см. ниже) уже с XI века [Монгайт 1961: 255]. Кроме того, возможно ли продолжать говорить об отсталости вятичей, державших земли по Оке, через которую с раннего времени пролегал важнейший восточный торговый путь, предшественник пресловутого пути "из варяг в греки" (ср. [Там же]).

Ну и наконец, отнюдь не "отсталость" привлекала в вятичах киевских князей, в частности, такого победоносного завоевателя, как Святослав; серьезность его завоевательных планов иллюстрирует миниатюра из Радзивилловской летописи под 964 годом: князь Святослав принимает побежденных вятичей, сидя на троне [Рыбаков 1982: 102].

Полезно иметь в виду и то, что, наверное, обращало на себя внимание в ранние века русской истории – племенная самобытность вятичей [Третьяков 1953: 241], которую они сохранили "дольше других восточнославянских племен" [Монгайт 1961: 254]. Дальше – больше. Известно, что русские племена – пришельцы в основной земле своего обитания, на Восточно-Европейской, иначе Русской, равнине. В вятичах же замечательно то, что они как бы сугубые пришельцы. Их приход совершился если не совсем на глазах письменной истории, то все же на памяти уже осевших вокруг племен, причем обычно сообщается, откуда они (вместе с радимичами) пришли, по формулировке начальной русской летописи – "от ляхов". И в этом действительно есть "зерно истины" [Ляпушкин 1968: 13], поскольку, в отличие от тенденциозных в самой своей сущности древних рассуждений об отсталости и "дикости", информация о месте исхода вятичей никакой корысти или политического резона не сулила. Для нас же это бесценные крохи древнего знания, хотя мы и не собираемся воспользоваться ими с шахматовской прямолинейностью, поскольку великий ученый ассоциировал с ними якобы польские черты в языке восточных славян [Шахматов 1915: XIX]. Но о языке потом, как и условились, хотя в целом "польская" репутация вятичей – тоже одна из давних традиций, или парадоксов науки, ибо, как пишет один из первых наших историков: "Вятичи – сарматы, обладавшие славянами по Оке..." [Татищев 1962: 248]. При этом просто надо иметь в виду, что старая польская ученость охотно отождествляла поляков с сарматами (хотя последние, как известно, – древние иранцы!). Понятно, что речь идет об очень давних событиях и их участниках, откуда – эта простительная мифологичность. Очень рано вятичи были упомянуты нашей письменностью, их участие в походе князя Олега в Византию значится под 907 годом [Рязанская энциклопедия 1995: 126 и сл., 674], то есть больше тысячи лет назад, но и это, разумеется, не предел, не *terminus post quem*, потому что археология уверенно судит о гораздо более раннем появлении их в наших пределах. Здесь уместно кратко сказать о племенном имени вятичей, поскольку пограничная лингвистическая дисциплина оно-

мастика привычно фигурирует среди исторических аргументов. В общем очевидно, что вятичи – с Запада, но ни на славянском Западе, ни на Юге такого этнонима нет, и это при том, что повторяемость этнонимов – известный феномен у славян (чтобы далеко не ходить, достаточно назвать полян киевских и польских полян). Перед нами еще плюс один парадокс, связанный с вятичами. Летопись и тут подсказывает правильный путь: вятичи прозваны по имени некоего (вождя? предводителя?), упоминаемого как *Вятко* [Фасмер 1996, I: 376], а это последнее имя представляет собой уменьшительную форму от личного имени *Вячеслав*, праслав. **vęčeslavъ*, ср. чеш. *Václav* [Там же: 378], то есть имени исключительно западнославянского. Так, хотя и не совсем обычно, оказался документирован западный источник этнонима вятичей; остальное – детали (среди них – форма *V(a)ntit*, название народа и области в восточных источниках X века [Рыбаков 1982: 215, 259], позволяющее судить о виде, в котором имя вятичей фигурировало до X века включительно, когда подверглось общему у восточных славян падению носовых). Ни с венедами-венетами, ни, тем паче, с антами (и то, и другое – чужие для славян аллоэтнонимы) этимологически связывать **vętiŋje*, *вятичи* не имеет смысла, несмотря на популярность таких опытов. Перед нами – случай, когда древнее племя первоначально вообще племенного названия не имело (довольствовалося самообозначением ‘мы’, ‘наши’, ‘свой’ etc.), вплоть до момента личной унии с возглавившим их смельчаком по имени Вятко...

Вообще в самый канун нашей письменной истории Поочье, ставшее основным регионом вятичей, принимало “разные потоки славянской колонизации” [Монгайт 1961: 66], что одновременно и усложняет нашу проблему, и делает ее притягательной для познания. В.В. Седов прямо говорит о многоактности славянского освоения Восточно-Европейской равнины [Седов 1999: 7], и можно заранее наметить эту многоактность по крайней мере для нашего региона: среднеднепровские славяне, славяне-вятичи со своего более отдаленного юго-запада и донские славяне, оказавшиеся там, на верхнем Дону, в свою очередь, в результате каких-то переселений. Считается, что славянское население появилось в бассейне Оки, особенно в ее верховьях, в VIII–IX вв. [Никольская 1981: 12; Седов 1982: 148], встретив здесь племена балтийской принадлежности, возможно, голядь (др.-русск.), каковое название характеризовало местных балтов тоже как ‘украинных, окраинных’ (лит. *galindai* ‘галинды’: *galas* ‘конец’). Впрочем, места были довольно пустынные, хватало всем, даже притом, что археология обнаруживает тенденцию все время отодвигать, удревнять приход славян, первые группы на верхней Оке – уже в IV–V вв. (!), а в Рязанском (Среднем) Поочье – в VI–VII вв. [Седов 1999: 58, 251]. Очевидно, те контакты с балтами передали пришлым славянам и название самой реки – *Ока*, вместе с его ударением в духе закона Фортунатова – де Соссюра (перенос с краткого, циркумфлексного гласного корня на акутовую долготу окончания). Ср. лтш. *aka* ‘колодец’, лит. *âkas* ‘полюнья’, *akis* ‘глаз; незаросшая вода в болоте, небольшая бочажина’ (дополнения О.Н. Трубачева в [Фасмер 1996, III: 127; Vanagas 1981: 37]). Судя по семантике балтийского прототипа, это название могло быть дано верховьям, истоку Оки, а отнюдь не среднему или нижнему течению этой большой реки.

В верховьях Оки, по-видимому, и было положено начало позднейшей области вятичей, ибо ядром вятичей называют верхнеокскую группировку славян, относимую археологически к VIII–X вв. [Седов 1999: 81]. Впрочем, и верхнедонских (боршевских) славян VIII–X вв., мигрировавших в массовом порядке на среднюю Оку в X в., тоже причисляют к вятичам [Монгайт 1961: 81, 85, 124], а уже известную нам многоактность прихода славян усугубляет широкая инфильтрация из Дунайского региона в VIII–IX вв., причем реалии и маршруты весьма напоминают то, что известно о вятичах (см. [Седов 1999: 145, 149, 183, 188, 195], где идет речь о прототипах семилопастных – вятичских – подвесок, попавших сюда с Дуная через Мазовше).

Приближаясь к нам постепенно из глубины веков, вятичи обретают черты, сближающие их и с современным районированием и населением Европейской России. Так,

в некоторых летописях вятичи уже отождествляются с рязанцами [Кузьмин 1965: 56]. Совпадают и ареалы. «Вся известная нам рязанская "областная" территория по составу славянского населения была вятичской» [Насонов 1951: 213]. С некоторыми поправками и дополнениями: к области вятичей относят и курско-орловские земли [Котков 1951а: 12]. Что касается преемственности заселения, важно иметь в виду популярные воззрения прошлого, суть которых заключалась в том, что степная сторона, вплотную подступавшая к Рязанской стороне с юга, и вообще широкие пространства Юга и Юго-Востока полностью обезлюдели и опустели в ходе известных событий, потрясавших прежде всего эти места, чем более защищенную лесную сторону. Но абсолютность этих воззрений давно вызывала сомнения и постепенно опровергалась со стороны истории языка и ономастики этой периферии, сохранившей на удивление древние образования.

Однако обделенность судьбой все же не обошла землю вятичей, если мы затронем вопрос о продолжении кирилло-мефодиевских традиций славянской письменности. Нас ждет единодушно отрицательный ответ: "Рязанские летописи до нас не дошли" [Монгайт 1961: 9]; "Ничего не сохранилось от письменности обширных Рязанской и Черниговской земель" [Филин 1972: 89]; рязанские хроники существовали (но не дошли) [Даркевич 1993: 136]. Впрочем, этому не стоит удивляться, если вдуматься в ту трагическую роль форпоста, которую было суждено сыграть этой земле. В отношении сохранности письменности все остальные древнерусские земли богаче и благополучнее – Киевская, Галицкая, Псковско-Новгородская, Ростово-Суздальская и др. Гораздо большим парадоксом звучат поэтому доходящие до нас сведения о низовой грамотности, которую – на фоне упомянутого оскудения – вдруг обнаруживает рязанская, вятичская земля с самого давнего времени, но о ней – чуть ниже, когда речь пойдет о культуре.

Характер жилищ вятичей дополнительно отличает их как первоначальных южан – они селились в землянках и полуземлянках, как дунайские славяне, как "склавины" Иордана и, наконец, как, по всей видимости, еще праславяне. Говорят, эту примету не стоит преувеличивать, она обусловлена географической средой обитания; все же важно отметить наличие у вятичей на верхней и средней Оке полуземлянок, а к северу, в том числе у кривичей, – наземных срубных построек (домов), добавив, что граница между более северной *избой* и более южной *хатой* пролегла где-то здесь, по реке Пра [Третьяков 1953: 197–198; Монгайт 1961: 127; Ляпушкин 1968: 120].

В этой ситуации нам остается судить о культуре быта и духа вятичей по тем следам и остаткам, которые дает ископаемая, археологическая культура, у земледельцев-вятичей заведомо небогатая. Все же благодаря трудам наших археологов мы узнаем удивительно много. И здесь нас ожидает, может быть, один из наиболее парадоксальных сюрпризов: вятичские женщины носили необыкновенно элегантные семилепестные височные кольца, устойчиво характерные именно для вятичской области (см., вслед за Арциховским [Седов 1982: 143]). Их аналогов ищут и на Востоке, но нам больше импонируют – в общем ансамбле известных данных – западные прототипы, кратко указанные также у нас, выше, ср. еще отмечаемое наличие у древневятичских женщин пластинчатых загнутоконечных браслетов западноевропейского типа (так! см., со ссылкой на Арциховского [Никольская 1981: 100, 113]). Завидное следование моде, особенно если учесть, что речь-то идет о "глухой земле"! Говоря о вятичских, далее – рязанских женщинах, нельзя не вспомнить о живом до сих пор обыкновении ношения поневы, тем более, что, как отмечают, "ареал синей клетчатой поневы совпадает с территорией распространения вятичских семилепестных колец..." [Осипова 1999: 72]. Можно, далее, вспомнить о характерности *понева* 'род юбки' для великорусского Юга, а *сарафана* – для великорусского Севера, однако сразу скажем, несколько забегаая вперед, что названное противопоставление (оппозиция) оказывается исторически иррелевантным, поскольку "северновеликорусский" сарафан пришел определенно тоже с юга и вообще это позднее заимствование из персидского и поздняя форма (ср. -ф-) и первоначально не обозначало женскую одежду... Остается только

понева/понька со своим сниженно диалектным уровнем, но яркой, еще праязыковой древностью (праслав. **pon'a*), не меньшей, чем у укр. *плахта* (праслав. **plaxъta*), обозначения архаического прямого покроя, собственно – куска ткани, что подтверждается этимологически. Ср. любопытные аналогии [Третьяков 1953: 197]: «Этнографические данные показывают, что в придунайской Болгарии распространен особый тип женского национального костюма, в других частях полуострова почти не встречающийся, находящий себе ближайшие аналогии в украинской национальной одежде, принадлежностью которой является "плахта", или одежда великорусов Курской и Орловской областей, где были в употреблении "понева" и особый вид передника [Там же: рис. 44]».

Естественно, что вся жизнь на Оке полностью преобразилась с приходом туда христианства. Справедливо также и то, что христианство появилось как городская культура [Иловайский 1858: 32], и, хотя это случилось несколько позже, чем у остальной Руси, все же христианизации весьма способствовало наличие значительного числа древних рязанских городов, известных в период с XI по XIII век: летописями упоминаются за это время в качестве рязанских городов (и селений) Коломна, Ростиславль, Осетр, Борисов-Глебов, Солотча, Ольгов, Опаков, Казарь, Переяславль, Рязань, Добрый Сот, Белгород, Новый Ольгов, Исады, Воино, Пронск, Дубок, Воронеж, а по Никоновской летописи к рязанским городам относятся еще Кадом, Тешилов, Колтеск, Мценск, Елец, Тула. И это, конечно, не все, в других источниках упомянуты города Ижеславец, Вердерев, Ожск [Рязанская энциклопедия 1995: 98, 126, 183, 388]. Конечно, это и в древности, очевидно, были сплошь и рядом скорее селения, а не города в полном смысле слова. Кроме того, иные из них захирели и превратились в села, как село со славным именем Вышгород, на Оке, как, в конце концов, та же Рязань (Старая), бывшая столица княжества. Некоторые такие города-селения были буквально забыты историей, так и не попав в поле зрения летописца. Так судят специалисты о двух городах вятичей, носивших древнее название Перемышль – на Оке, в Калужской области, и на реке Моча, в Московской области [Никольская 1981: 157 и сл.]. Сама номенклатура в данном случае ведет нас вспять, на древнее польско-русское пограничье, где до сих пор известен город Перемышль, он же по-польски Przemyśl (теперь в пределах Польши [Rymut 1987: 195]), возвращая нас тем самым на "трассу вятичей", как мы ее понимаем.

Перенос названий в Рязанской земле с юга – это известный эпизод, в целом уже довольно проясненный – в той части, в которой он касается миграции названий с относительно близкого юга, из Среднего Поднепровья, Киевщины, земли полян. Тут мы имеем дело с повторением целых топонимических ансамблей, взять хотя бы это повторение в черте города Переяславль Рязанский (нынешняя Рязань) – *Переяславль – Трубеж – Лыбедь – Дунай/Дунаец*, которое неизменно упоминается всеми писавшими об этих местах [Смолицкая 1976, *passim*; Тихомиров 1956: 434; Даркевич 1993: 65; Чумакова 1992: 8; Рязанская энциклопедия 1995: 507]. Не все, правда, просто и однозначно и с этими названиями, во всяком случае теми из них, на которых лежит печать более дальних связей и прихода/переноса с более дальнего юга и юго-запада: это *Дунай/Дунаец*, указывающий (через посредство польской территории и тамошних вех вроде *Dunajec*, приток верхней Вислы [Hydronimia Wisły 1965: 26]) на великую реку в Центральной Европе, и *Вышгород*, также обнаруживающий, помимо киевского, днепровского, дунайский прототип. Относительно *Дѣнаи*, *Лыбѣдь* см. еще [Етим. словн. 1985: 53–54, 83–84], еще одну западную ассоциацию – *Вислица* в Среднем Поочье, см. [Чумакова 1992: 124–125, 142].

Огромной проблемой по-прежнему остается южный, юго-восточный фланг вятичей, максимальное расширение которого пришлось на дописанные, "темные" века, которых главным образом и касается реконструкция в трудах Шахматова и нескольких других ученых, охватываемая понятием "Приазовской" (иначе – Азовско-Черноморской) Руси, которую целые последующие поколения почему-то поспешили сдать в

архив. Здесь мы не будем на ней останавливаться, поскольку уже сделали это в другом месте. Заметим лишь, что это как раз тот случай, когда правдоподобие и вероятность привычно недооцениваются. Ведь дело отнюдь не только в том, что с XI в. был перерезан "торный путь" с Оки по Дону в Тавриду [Иловайский 1858: 123]. Дело в том, что пространство русского языка и племени реально было другим, и Тмутаракань как дальний южный форпост объективно свидетельствует об этом. Только на этом пути мы еще, пожалуй, способны наверстать и понять многое, в том числе и генезис русского имени. Взамен этого позитивистски настроенная история довольствуется только реальностью "Дикого поля" и старательно избегает реконструкции даже самого очевидного.

Из древностей, гораздо более ранних, чем X век, связавших в первую очередь вятическую, рязанскую Русь и русскую Тмутаракань на Таманском полуострове, назовем здесь боспорские монеты III–IV вв. н.э. в археологических раскопках на городище Старой Рязани [Монгайт 1961: 46–47] да еще, пожалуй, тождество семантического калькирования, установленное между древнерусским названием города Славянск-на-Кубани – *Копыль*, означавшим, видимо, не только 'подпорка', но и 'отросток', и восстановимым индоарийским (синдо-меотским) названием примерно тех же мест – **ut-kanda* 'отросток', очень красноречивым в моих глазах [Трубачев 1999а: 286].

Сказанное (включая этот яркий, по-моему, пример "индоарийских зорь на кубанском хуторе") имело целью показать довольно четкую привязку еще одного из вятичско-рязанских парадоксов как на стадии блистательного прирастания русских земель Юго-Востоком (О Руская земле, уже за шелома немъ еси! '...за проливом' "Слово о полку Игореве"), так и на стадии последующих горьких утрат, вызывавших "поискати града Тьматорокана" (Там же). Русь помнила эту связь Рязани и Тмутаракани [Иловайский 1858: 14] и притом – очень четко, ср. [Татищев 1962: 249]: "Тматорокань..., ныне Резанская правинция". Разумеется, с вариантами: Тмутаракань – черниговский город [Тихомиров 1956: 351]. Конечно, нельзя забывать об участии во всем этом Северной земли, хотя и не с той степенью державности.

Возвращаясь к истории культуры, мы наблюдаем, пусть единственное, но курьезное повторение вятичско-рязанского парадокса (отсутствие письменности при наличии проявления ранней низовой и бытовой грамотности) опять-таки в Тмутаракани, откуда дошла эта единственная древнейшая канцелярская надпись на камне XI века о том, что князь Глеб мерил море по леду от Тматорокани до Корчева (Керчи)... Этот эпиграфический памятник взвихрил вокруг себя целую дискуссию насчет своей подлинности, но стоит прислушаться к мнению: "с точки зрения языка она (надпись. – О.Т.) безупречна" [Шахматов 1908, I: 287; Мединцева 1979: passim].

Клад в приокском селе с древним названием Вышгород содержал наряду с железными сельскохозяйственными орудиями также писала для письма [Монгайт 1961: 196]. Эти писала, или стили, применялись для нанесения самых разных, в основном бытовых надписей. Очевидно, перед нами то, что относят к дорукописной продукции, ср. [Рождественская 1994: 9], но только такая письменность Рязанской земли единственно дошла до нас, знаменуя собой и грамотность, и городскую культуру [Тихомиров 1956: 85, 263] и – со всей скудостью – состояние живого местного языка, не будучи произведением переводной литературы. Рязанские граффити датируются в основном XII–XIII веками [Даркевич 1993: 138], но есть, возможно, и более древние, как на пряслице, найденном рязанским археологом В.И. Зубковым в 1958 году: **ПРАСАНЫ** **ПАРАСНИ** 'пряслень Парасин' [Монгайт 1961: 156–157], XI – начало XII в. Любопытно как свидетельство женской грамотности. Само собой, это предполагает, кроме грамотности владельцев, городского населения (в противном случае надпись просто теряет смысл), также грамотность производителей, ремесленников. В литературе уже набралось некоторое количество свидетельств этой грамотности – надписи "княжее есть", "Молодило", даже фразы: "Новое вино добрило послал князю Богунка" (тоже XI–XII вв.), причем делается любопытная констатация, что эта – домонгольская –

грамотность населения Рязани превосходит грамотность позднейшую [Медынцева 1988: 248, 255]. Надписи фиксируют личные имена людей: "Орина", медальон, найденный в Старой Рязани [Тихомиров 1956: 427], "Макосимове", надпись на литейной формочке в Серенске [Никольская 1981: 142, рис. 48], в последнем случае притяжательная форма 'Максимов' (ср. лс. 'лячек' ?), с любопытной огласовкой конца слова им. пад. ед. числа муж. рода, обычно наблюдаемой на новгородском северо-западе. Остается добавить, что однотипные пряслица (распространенный предмет для нанесения надписей) "бытуют в Рязанской области и до настоящего времени" [Монгайт 1961: 296].

Город Рязань впервые упомянут (именно упомянут, а не основан) в 1096 г., на добрых полвека раньше Москвы. Это полувековое опережение мы еще сможем вспомнить потом, когда зададимся вопросом, кем или на чьей почве была основана Москва. Когда речь идет об основании города, все охотно начинают припоминать этимологию его названия, – историки, археологи, возможно, охотнее других. Так и на этот раз. Если не считать откровенно любительского сближения *Рязань* с диал. *ряса* 'топкое место', которое элементарно сюда не подходит прежде всего потому, что Рязань (и Старая, и новая, Переяславль Рязанский) закладывалась на правом, горном берегу Оки, популярно и пользуется широкой известностью толкование от мордовского *эрьянь* 'эрьяньский, эрзя-мордовский' (см. [Никонов 1966: 362]), но и оно сомнительно как в формальном отношении [Фасмер 1996, III: 537], так и в реальном, в общем придумано *ad hoc*. Начинать надо с уточнения первоначальной формы названия, а таковой – что замечательно! – была форма мужского рода: *къ Резаню* [Иловайский 1858: 23]. Дальше все выстраивается в довольно логичный ряд: *Ръзань* – притяжательное прилагательное на *-ъ* от личного имени собственного *Ръзанъ*, то есть 'принадлежащий человеку по имени Ръзанъ'. Мужской род древнейшей формы названия города понятен ввиду согласования с *городъ*: двучлен *Ръзанъ (городъ)* – это 'Резанов город' (реальность личного имени *Ръзанъ*, известного с 1495 г., см. [Тупиков 1903: 402; Веселовский 1974: 267: *Резановы, Резаный*, XVI в.]). Сюда же, кстати, и фамилия *Рязанов* (*e > я* вне ударения в якающей среде, прямое же соотнесение с Рязанью [Унбегаун 1989: 113] неточно). Впрочем, формы на *-е* держались довольно долго, ср. *резаньскои*, 1496 г. [Котков и др. 1978: 15]. На естественный вопрос, что представляет собой само это исходное личное имя *Ръзанъ*, ответ в общем ясен: краткая форма страдательного причастия, то есть 'резаный', так назвать или прозвать могли младенца, 'вырезанного (из чрева матери)', ср. так уже [Фасмер 1996, III: 537]. Внешне непрестижное, это имя-прозвище могли порой носить люди выдающиеся. Предположим, что таким был какой-то предводитель-вятич *Ръзанъ*, по которому недаром был назван **Ръзанъ городъ*. Сделать это нам позволяет ни больше, ни меньше как аналогия с *Царьградъ*, ибо наше *царь*, полное *цѣсарь* – от лат. *Caesar*, производное от *caedō* 'резать, рубить', откуда *caesar* буквально – 'выпороток, вырезанный из чрева матери' (знаменитый Г.Ю. Цезарь родился как раз таким, оперативным путем "кесарева сечения", прославив впоследствии свое прозвище). Наше этимологическое отвлечение может быть полезно еще и тем, что показывает: никакой 'земли отрезанной' имя города *Рязань* скрывать не может (ср. об этом [Рязанская энциклопедия 1995: 511]).

Имеет смысл завершить сравнение двух городов (*Рязань* – *Москва*), поскольку, как кажется, мы, говоря и о Москве, законно остаемся в земле вятичей.

В связи с интересующими нас вопросами нельзя не обратить внимание на наличие вскрытого археологами широкого клина вятичей XI–XIII вв., захватывающего с Юга все "ближнее Подмосковье" и Москву (см. В.В. Седов у [Войтенко 1991: 61]). Курганы вятичей находят вокруг Москвы и в ее черте, что констатировали начиная с Арциховского, см. [Насонов 1951: 186]. Больше того, самый густой район находок вятичских семилопастных височных колец оказывается не в Поочье, а в Подмосковье [Седов 1982: 144–145]. Далее, когда сам В.В. Седов полагает [Седов 1999: 238–239], что

Москва была основана и заселена со стороны Ростова и Суздаля, он, по-видимому, недооценивает известные, конечно, и ему ляшско-вятичские топонимические тождества, ср. *Тула – Tuł*, *Вициж – Uściż*, Коломна – *Коломыя*, см., с литературой [Трубачев 1971, passim], там же – несколько вятичско-чешских соответствий Подмосковья и Поочья¹. Самым же ярким и полным является ляшско-вятичское тождество *Moskiew* (в польском Мазовше) = *Москва*, оба члена которого, с польской и русской стороны, регулярно восходят к древней праславянской основе на -*ij*- долгое **mosky*, род. пад. **moskŷve* и при этом уверенно этимологизируются из слав. **mosk*- 'влажный, сырой'. Ср. еще [ЭССЯ 20: 20; Трубачев 1994: 10; 1997: 105]. Таким образом, кажется, можно подвести определенные итоги в долгой дискуссии о происхождении имени нашей столицы, точнее, конечно, исторически первоначально – названия реки Москвы, причем сближения с суоми-фин. *Masku* или балтийским материалом ("балтика Подмосковья") все же уступают по вероятности, глубине реконструкции и всему упомянутому выше культурному фону тождеству *Moskiew* = *Москва*, др.-русс. *Московъ*, вин. пад. ед. числа (см. остальную литературу и прочие сведения в [Фасмер 1996, II: 660]). Как тут не вспомнить старика Татищева и всю его проницательность: "Но я правее разумею быть имя Москвы реки – сарматское – болотная, ибо в вершине оной болот немало..." [Татищев 1962: 314]. Все ведь верно и справедливо и притом – не только "в вершине", вспомнить хотя бы знаменитую "Москворецкую лужу" и частые московские наводнения в старину, и, в конце концов, одно то, что Москва и все близнее Подмосковье стоит на глинистых почвах... Вот и все пока о Москве, добавим лишь, помня то, что когда-то писалось о Рязани (см. также выше), что из двух этих вятичских столиц (если можно так выразиться), на самом тонком месте оказалась Москва.

II

(Центр – периферия – ареал)

Племя вятичей, начавшее селиться во второй половине I тысячелетия в приокских краях, оказалось сравнительно неподалеку от Киева, на северо-восток, облюбовав редконаселенные земли. Скорее всего, этими местами несколько раньше прошли дальше на север будущие новгородские словены. Сами же вятичи вскоре приступили к освоению больших пространств к востоку и юго-востоку. Так, включая ранее освоенные Запад и Юго-Запад, постепенно организовалось восточнославянское этническое и языковое пространство, ареал. Его нормальное функционирование неизбежно выражалось в едином этническом самосознании (достаточно раскрыть начальную русскую летопись, чтобы почувствовать его реальное наличие: "а славянское и русское одно есть"). Лингвистической ипостасью единого этнического самосознания обязательно должен был быть относительно единый (дописменный и долитературный) наддиалект. Само понятие и название наддиалекта говорит, что он суммирует некую подпитывающую его сложность местных диалектов. Поводом для обсуждения этой сложности (*vice versa* этого единства) послужило состояние этих вопросов в нашей науке последних десятилетий, где накопилось много неясности и даже тупиковых состояний, начать хотя бы с обсуждения вопроса об общенародном нелитературном языке, отмечая при этом готовность (пусть временами не очень четко выраженную) обсуждать его у некоторых авторов, наряду с явным отсутствием интереса к проблеме – у других.

¹ Не забудем здесь и летописное имя вятичского племенного старейшины *Ходота* с его доказанными западнославянскими ассоциациями [ЭССЯ 8: 50]. Относящееся сюда ЛИ *Ходута*, засвидетельствованное в составе отчества *соуждалъць Ходоутиничъ* в берестяной грамоте XII в. [Зализняк 1995: 183, 239] лишь усугубляет интерес к этому факту.

Кажется очевидным, что названный выше наддиалект, или общенародный нелитературный язык, он же – "устный литературный язык" – это универсалия, нормальная функция множества низовых диалектов, подтверждаемая близкими и дальними параллелями, лишь усиливающими впечатление серьезности проблемы, ср., с одной стороны ссылку на устный литературный язык якутских народных сказителей (Убрютова в [Бородина 1968: 117]), а с другой стороны – и это самое важное для нас – отголоски дискуссии в нашей науке в сущности о том же: "Нельзя согласиться с положением Р.И. Аванесова, будто бы русского языка вне пределов литературного языка не существует" [Филин 1972: 69]. Действительно, в нашей диалектологии популярно оперирование не вполне ясными категориями "диалектного языка" и "системы систем", при крайне слабом интересе именно к наддиалекту или "наддиалектному койне" [Трубачев 1998: 4]. Хотя было бы несправедливо утверждать, что близкие к проблеме факты вовсе не попадали в поле зрения исследователей конкретного материала. Ср., например, одно из сделанных вскользь замечаний о наличии "в русском диалектном языке" (?) "общих элементов" синтаксиса, употребляющихся "во всех говорах" [Русская диалектология 1964: 173]. И таких замечаний, наблюдений найдется немало, впрочем, возможно, при более или менее осязаемом отсутствии сознания необходимости сделать следующий шаг – я имею в виду обобщение о наддиалекте. Сюда, несомненно, относятся пытливые, хотя порой и вскользь высказанные мысли С.И. Коткова – о широком просторечии (в работе об орловских диалектах), об общенародности языка старого эпистолярного наследия, против популярного заключения Лудольфа 1696 года о том, что у нас говорили по-русски, а писали будто бы только по-церковнославянски [Котков 1980: 36].

Несколько забегая вперед и в интересах, как кажется, правильного понимания существующего положения, многое (если не все) определялось у нас унаследованными еще от Шахматова представлениями, согласно которым идея койне не шла дальше мыслей о городском говоре, например, Киева [Шахматов 1916: 80], общеязыковая материя сводилась к неисчислимому множеству "индивидуальных языков", а общевеликорусский язык, как и общевеликорусская народность признавались "фикцией", во всяком случае – поздней реальностью. Мы будем к этому возвращаться еще ниже, но, повторяем, для правильного понимания это важно отметить уже с самого начала.

Итак, речь должна идти в немалой степени о мире идей и научных построений Шахматова. Академик Алексей Александрович Шахматов, безусловно, – центральная фигура в науке о русском языке и его истории, как, впрочем, и в собственно русской истории. Его авторитет, его научное влияние, объем сделанного им за непродолжительную, примерно полувековую, жизнь не имеют себе равных. И сейчас, перечитывая труды Шахматова, неизбежно испытываешь очарование силы ума и удивление перед огромностью знаний. Непродолжительная жизнь этого замечательного ученого и не менее замечательного человека окончилась в 1920 году, как раз в то время, или в канун времени, когда в европейской лингвистике еще только намечалось начало лингвистической географии – системы научных понятий, в корне повлиявших на широкие области исследования языка. Конечно, со своей стороны, до известной степени тормозящее воздействие имело, как кажется, излишне последовательное соблюдение Шахматовым принципов лингвистической школы своего учителя, Ф.Ф. Фортунатова, и критика не преминула отметить это: явно избыточный перенос в праязыковую реконструкцию многих звуков позднего и местного образования, преувеличение фактора "смешения" языков и диалектов, а также переоценка индивидуальнорусского за счет общеязыкового (см. отчасти [Lehr-Splawinski 1921–1957, passim]). Но самым крупным несоответствием или даже трагизмом видится сейчас то, что рано умерший Шахматов по не зависящему от него стечению обстоятельств буквально всего на несколько лет "разошелся" по времени с подъемом лингвистической географии, который развернулся в романских и германских странах. Результаты, к сожалению, не замедлили сказаться, и сейчас многое по известным причинам видится иначе. Многие, в том числе принципиальные, построения и выводы Шахматова о русском языковом

развитии звучат проблематично, не отвечают возможностям современной науки и нуждаются в иной переформулировке, иной точке отсчета. Повторяю: в наметившемся разночтении меньше всего можно винить самого Шахматова. С ним закончилась славная эпоха, оставившая замечательные исследования и добротные собрания материалов, эпоха до лингвистической географии. Труднее понять последующие поколения ученых, которые, исследуя русский языковой материал, продолжали почти всецело идти за Шахматовым. Сложилась необычная ситуация, о которой надо говорить, тем более, что до сих пор этого не сделали. Парадоксально то, что критика трудов Шахматова вроде имела место неоднократно, в том числе и в наше умудренное и проинформированное время. Удивляет же то, что и у видных критиков Шахматова мы практически не находим систематических попыток нового прочтения шахматовской истории и диалектологии русского языка. Должен оговориться, что дело отнюдь не в недостатке или отсутствии термина "лингвистическая география". Скорее уместно иметь в виду дефицит осмысленного применения самих понятий, в том числе главных из них: центр – периферия – ареал. Этим занимается лингвистическая география, см. например удобный обзорный очерк [Бородина 1968: 106 и сл.]: лингвистическая география не сводится к картографированию, будучи сугубо исторической наукой, а значит, это не составление атласов, а их интерпретация, использующая понятия ареала, изоглоссы, очага распространения и такой критерий, как обращенность в прошлое. Будучи специалистом по романским языкам, Бородина довольно осторожна в оценке русской диалектологии, не решив для себя окончательно вопроса, имеем ли мы здесь перед собой опыт лингвогеографической работы или лишь подготовку к последней.

Чтобы не быть голословным, назовем весьма характерные, классические труды этого направления, как например "Патология и терапевтика слов. Исследования по лингвистической географии" (I–III, 1915–1921) Ж. Жильерона, "География слов верхне-немецкого обиходного языка" П. Кречмера (1918).

Могу также поделиться собственным ранним опытом лингвогеографического изучения славянско-неславянских интерференций в области обозначения понятия 'ни один', довольно характерных славянских периферийных образований вроде ст.-чеш. *nižádný*, ст.-польск. *niżadny* (**ni-že-jedьnъ*) в конечном счете ареальное новообразование, удивительно напоминающее также ареальное структурно близкое новообразование на соседней – германской почве, франк. *ni-g-ein* 'ни один', что позволяет говорить об элементах языкового союза (там же параллели с других славянских периферий, см. [Трубачев 1959: 28 и сл.]; вышло также в немецком переводе [Trubačev 1977: 247 и сл., особ. 271 и сл.]).

Четкого лингвогеографического аспекта, как я уже сказал, мы не нашли и у наших маститых критиков Шахматова (см. [Филин 1972: 37, 43, 54]), где критика идет по другим параметрам, а шахматовское понимание "переходных говоров и говора Москвы" даже вызывает одобрение. Ниже мы коснемся этих важных понятий.

То, что обычно называют лингвистической географией у нас, есть скорее наука о распределении фонетических и морфологических типов в рамках одного языка и одного времени, тогда как классическое понимание лингвистической географии – историческая география слов (нем. Wortgeographie) [Трубачев 1959: 21]. К сожалению, столь отличная трактовка (лингвистическая география как описательная диалектология) никем и никогда не оговаривалась, по крайней мере мне об этом ничего не известно. Не вполне ясны и мотивы; можно разве что предполагать, что в этом повинен все тот же одновременный (с 50-х гг.) "бум" описательно-структуралистских направлений, при упадке сравнительно-исторического языкознания у нас? [Трубачев 1987: 20]. Я допускаю, что серьезные исследователи все же испытывали определенное неудобство от означенного несоответствия, о чем могут свидетельствовать попытки как-то "развести" собственно диалектологию и лингвистическую географию, ср. [Горшкова 1968: 9, 48; 1972: 37], где говорится об исторической лингвогеографии как

отделе исторической диалектологии, а карты лингвистических атласов квалифицируются как "источник исторической лингвогеографии".

И хотя эти вялотекущие поиски, может быть, продолжаются, мы наблюдаем объективно наличествующие негативные следствия вышеназванного взаимонапления или смешения понятий. Именно так приходится воспринимать случаи прямолинейного отождествления также изоглоссы, с одной стороны, и диалектной границы, даже госграницы – с другой, тогда как необходимо (в духе лингвистической географии) исходить – как минимум – из относительности и проницаемости всех границ, в их числе – диалектных [Трубачев 1959: 16]. Здесь остается вспомнить, что подобные прямолинейные трактовки ярко выражены уже у Шахматова, который не довольствуется пронижением самого явления – аканья – на белорусский Запад с Востока, но рисует целую восточнорусскую "иммиграцию" в Белоруссию как источник и носитель аканья [Шахматов 1910: 177; 1915: XLIII]. В другом случае у него речь идет о "наводнении всей Белоруссии и радимичами и вятичами" [Шахматов 1916: 110]. Мы сейчас в языкознании довольно реально себе представляем, что то же "аканье" вряд ли импортировали таким буквальным образом, подобно тому как и археологи считаются с миграцией моды на те или иные артефакты и обычаи, а не с обязательной миграцией самих носителей артефактов или обычаев. Преувеличенное отождествление пучков изоглосс юго-западной зоны и границы Великого княжества Литовского XIV в. [Образование сев.-русс. наречия 1970: 11 и *passim*] тоже похоже на признание единственного свойства изоглосс – совпадать с госграницей и не нарушать ее. Отождествление изоглоссы и госграницы см. также и [Касаткин 1999, Введение, *passim*].

Огромную проблему лингвистической географии представляет определение инновационного центра языкового ареала. То, что мы имеем по этому вопросу в нашей литературе, объективно является отождествлением, или подменой инновационного центра центром политическим, административно-территориальным. Собственно говоря, именно в этом последнем смысле понимает "говор центра" Р.И. Аванесов (см. [Аванесов 1947: 156]), когда помещает центр русского глоттогенеза в Северно-Восточной Руси [Там же: 109]. Это понимание владимирско-поволжской группы как диалектной зоны центра возымело популярность в последующие годы [Горшкова 1968: 180, 182; 1972: 105], ср. и [Русская диалектология 1989: 193]: "В основу русского литературного языка лег диалект Ростово-Суздальской земли". Вариации на тему наблюдаются в тех случаях, когда делают попытки совместить говоры "центра" и "территорию говоров, окружающих Москву" [Захарова, Орлова 1970: 59, карта № 7].

Но к чести наших конкретных исследователей-диалектологов нельзя не отметить случаев как бы интуитивного нащупывания также того, что можно назвать действительно инновационным центром. Сюда относится выделение курско-орловской группы южновеликорусского наречия между 35° и 37° восточной долготы с диссимилятивным яканьем суджанского типа [Захарова, Орлова 1970: 130 и сл.], ср. еще о диссимилятивном аканье и его центре – [Аванесов 1949: 66, 301]. Вообще с аканьем связывали идею лингвистического центра уже давно, ср. "сильно акающий центр", по А.И. Соболевскому охватывающий Орловскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, Курскую, Воронежскую губернии [Котков 1951а: 17]. Здесь необходимо вспомнить тезис Шахматова об исконности южновеликорусского (орл. и др.) аканья, сравнительно с белорусским [Котков 1951а: 58–59]. Собственно говоря, можно было бы говорить об общепринятости или во всяком случае распространенности мнения об аканье как явлении центра древнего восточнославянского ареала, ср. [Георгиев *etc.* 1968: 92]. Равным образом обращает на себя внимание признание центрального, в сущности, характера "курско-орловской группы южного наречия" [Русская диалектология 1964: 274]. Смутными исканиями в том же направлении, кажется, были шахматовские поиски (в его терминах) восточнорусского, иначе – среднерусского – наречия на Верхнем Дону и Северском Донце, с аканьем [Трубачев 1997: 97]. В этой связи можно указать на Окско-Донской водораздел с его скоплением удивительно архаичных славянских гидронимов: *Снова, Калитва, Идолга, Щигор, Иловый,*

Излегоща, Толотый [Трубачев 1994: 9] – случай, когда архаизмы периферийного вида как бы подступают к искомому языковому центру, парадокс в вятичском духе, поскольку нигде больше в восточнославянском ареале феномены центра и периферии, испытывшей и расширение и сжатие, мы как будто в такой близости не наблюдаем. В.В. Седов заинтересовался у Трубачева архаической славянской гидронимией на днепровском левобережье и на Дону и связывает их с волынцевской и роменско-боршевской, то есть вятичскими археологическими культурами [Седов 1999: 61], но в поисках восточнославянского центра (очага) в работах того же автора сомневается, помещая, впрочем, примерно там и ареал этнонима RUZZI Баварского географа и Русский каганат [Там же: 19, 64, 73]. В общем, как говорится, время рассудит.

Многие помнят, возможно, какому суровому критическому разбору подверглись две книги Г.А. Хабургаева – «Этнонимы "Повести временных лет" в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза» (М., 1979) и «Становление русского языка» (М., 1980), см. [Shevelov 1982: 353 и сл.]. Книги эти, действительно, представляли странную смесь археологии с диалектологией, порой также – с недоброкачественной этимологией и реконструкцией. Но главный приговор был вынесен рецензентом даже не за это: "Если бы Х(абургаеву) удалось этот центр (иррадиации многих процессов языкового развития. – О.Т.) определить, это было бы его большой заслугой. Но он не пытается это сделать; как кажется, он даже не видит этой проблемы" [Там же: 361]. Да, этой проблемы не видели, и за этим стоял уровень лингвогеографических изучений.

Может быть, стоит поэтому, а также в связи с некоторыми серьезными наметками и высказываниями, процитированными уже выше, присмотреться, в частности, к курско-орловской группе говоров, удобно выделенной на диалектологической карте 1964 года и на диалектологической карте русского языка в Европе 1914 года, см. [Русская диалектология 1989, форзацы]. Трагизм проблемы, если можно так выразиться (хотя трагизма русской науке вообще не занимать, и даже в нашем сжатом очерке эта тема звучит уже дважды), выразился в данном случае в том, что в известной работе И.В. Сталина 1950 г. содержался тезис о курско-орловском диалекте как основе русского национального языка. Как всегда у нас, славословия вдруг резко потом оборвались, в последующий период воцарилось тяжкое табу над этой темой, проблемой и в целом – над поисками центра [Трубачев 1982–1997]. Как водится в таких случаях, с водой выплеснули и ребенка. Серьезный историк русского языка С.И. Котков, подготовивший диссертацию об орловских говорах, оказался легкой мишенью для всяческой критики. А между прочим, речь шла о работе, пролившей много света не только на орловские говоры, их состояние и разностороннюю историю, более того, исправившей немало застарелых перекосов в оценке отношений северновеликорусский – южновеликорусский – общенародный (национальный, литературный) язык. Мы не раз и не два обратимся еще к этой диссертации и другим работам Коткова. Некоторые пассажи отсюда явно заслуживают воспроизведения. Например: "В массе орловских говоров они (формы им. пад. мн. числа на -а муж. рода. – О.Т.) охватывают в основном тот же словарный круг, какой находим в литературном языке и широком просторечии... *берега́, бока́, верха́, ветра́, вечера́, волоса́, ворота́, глаза́, года́, города́, дома́, закрома́, колокола́, леса́, луга́, номера́, погреба́, поезда́, рога́, рукава́, снега́, сорта́, тока́, трактора́, триера́, хлеба́, холода́*" [Котков 1951а: 626]. Ср. данные [ДАРЯ II, карты №№ 24, 25, 27, а также Комментарии], фиксирующие преимущественно "северное" окончание -ы[и]. Не менее информативно, далее, наблюдение об окончании род. пад. ед. числа на -в- (*другово, синево, моево*), которое считается характерным для северновеликорусского, а в действительности господствует в орловских говорах, согласно результатам обследования [Котков 1980: 135]. Констатируется несколько бо́льшая близость южновеликорусских говоров к общенародному языку в области синтаксиса, чем это имеет место в отношении северновеликорусского [Там же: 107]. При этом речь не ведется о прямолинейной иррадиации центральнодиалект-

ное → общенародное, а о "перемалывании" курско-орловского в общенародное [Котков 1951а: 755–756].

Но центральным было и остается явление аканья, центральным как по структурной характеристике и важности ввиду охвата также общенародного (национально-литературного) языка, так и по своей центральнодиалектной принадлежности, и это признается разными авторами, ср. [Горшкова 1972: 125] – о первоначальной территории акающего диалекта, включающей курско-орловские и соседние говоры, см. также уточнение, что для орловских говоров характерны "примерно те же безударные гласные, что и литературная речь" [Котков 1951а: 428]. Центральноюжновеликорусский характер отмечается и для диссимильтивного аканья, см. [Аванесов 1949: 301 и сл., там же карта И.Г. Голанова], ср. и [Русская диалектология 1989: 44], уточнение границ диссимильтивного аканья в сторону их расширения, сравнительно с [ДАРЯ I, карта № 1], см. [Касаткина 2000], впрочем, ср. уже [Котков 1951а: 430]: "Восточная граница диссимильтивного аканья в Орловской области не выходит за восточные пределы диссимильтивного аканья суджанского типа". Примерно на тот же центр насаивается диссимильтивное яканье: Курск – Орел – Смоленск [ДАРЯ I, карты №№ 3, 8; Захарова, Орлова 1970: 74]. Эти диссимильтивные преобразования безударного вокализма, честь открытия которых принадлежит Шахматову [Макаров 2000: 183], типа диалектных *с[ъ]ва́, т[ъ]ва́* [Русская диалектология 1989: 45], курск., льговск. *жылѣзо, жына, жыра* [Шахматов 1910: 700 и сл.], *жыла́иш, цына́* [Котков 1951а: 141, 291], *въда́, жыра́, шыга́ть* [ДАРЯ I, карты №№ 1, 2; Программа: 199], в ограниченном, правда, объеме и не надолго, проникли и в стандартнолитературную орфоэпию, ср. пресловутые "сценические" *жыра́, шыгы́* [Касаткин 199: 479, 480: как *ша́гй, жа́ра́*], ср. уже отсутствие подобных рекомендаций в [Орфоэп. словарь 1997].

Словом, картина, в том числе пространственная, явлений (типов) аканья – яканья непростая, сложная даже для лингвиста-недиалектолога. На множественность этих типов также обратили внимание давно, ср. [Даль 1852: LXXV] о том, что, например, "в смоленском наречии акают до приторности, и аканье это усиливается на запад и юг, через Белую до Черной и Малой Руси..." Почтенный лексикограф так отозвался о том, что потом стали квалифицировать как белорусский, полный характер аканья [Шахматов 1910: 379–380]. Для срединных же, означенных выше говоров характерна пестрота типов аканья-яканья на довольно ограниченном пространстве. Все эти генетически более новые, разнообразные типы, в основном – диссимильтивного аканья (яканья) – суджанский, обоянский, щигровский – все сосредоточены в зоне курско-орловских говоров, проще говоря – на курской земле, откуда и исходили эти инновации, знаменующие тем самым центральность зоны. Инновации были в известном смысле множественными, ср. сюда еще йканье – орловско-курское, но и среднерусское и национально-литературное [Котков 1951а: 467, 476; Русская диалектология 1964: 61]. Все это, вместе взятое создавало ту самую пестроту и неоднозначность характеристики, которую по канонам дисциплины и должен проявлять центр лингво-географического ареала. Из этих черт некоторые в разном объеме устремились центробежно в более периферийные области, ср. иканье в московских говорах и отдельные отражения диссимильтивных явлений в самом высоком речевом стандарте, о чем кратко – выше.

Конечно, остается традиционно трудный вопрос о происхождении аканья, и здесь не могут быть, естественно, признаны достаточными и убедительными ссылки на "безболезненность" и "легкость" перехода от оканья к аканью [Аванесов 1947: 146]. Почему тогда, спрашивается, не начала "акать" вся территория языка? Видимо, не стоит оставлять без внимания сопутствующий социолингвистический аспект: это была инновация, шедшая из влиятельного южного центра (самое время напомнить, что великорусский Юг превосходил великорусский Север по людскому, экономическому и другим потенциалам, о чем почему-то обычно забывают, как и об аксиоме, что история начиналась на Юге), инновация обладала авторитетом, и следовать ей, этому

пресловутому выговору "по-московски", о чем [Даль, *passim*], было престижно. Редкость ли заселения Севера, неудовлетворительность тамошних коммуникаций или какие-то более тонкие причины, но что-то все же привело к затуханию инновационной волны аканья на подступах именно к Северу. Мы и в дальнейшем будем пользоваться этой точкой отсчета: сравнительная дальность траектории волн, высылаемых инновационным центром.

Распространена концепция, датирующая аканье временем после падения редуцированных [Аванесов 1947: 138–139], и к ней, вероятно, надо прислушаться. Но вполне возможно, что дело много сложнее, и указанное падение – не единственная, а одна из причин, довершившая окончательное приведение в действие механизма аканья. Возможно, более широкое допущение ряда предрасположений к аканью – единственный выход из тупикового положения, в котором проблема аканья оказалась в результате ожесточенных споров. Иными словами, если даже перед нами не тот случай, когда "оба правы", то все же возможно расценить ситуацию как некий сигнал о наличии рационального зерна во взаимоисключающих концепциях: "аканье – собственно русская инновация", "аканье – праславянский феномен". Нельзя забывать и о том, что язык древнерусской ветви славянства подвергся значительной перестройке, развертывавшейся опять-таки по законам лингвистической географии (пространственной лингвистики). Не исключено при этом, что первоначальный краткостный вокализм был у древнерусских славян, их большинства переинтерпретирован как вокализм безударный [Трубачев 1991: 69–71]. Состоялась утрата категории различения количества гласных, которой праукраинский как типичная периферия был затронут в гораздо меньшей степени, ср. имевшее в украинском место заместительное растяжение/продление, ареально близкий аналог явлению польской исторической фонетики – *wzdłużenie zastępcze*, и там, и тут – во вновь закрытых слогах. Это явление косвенно свидетельствует о древнем наличии в праукраинских диалектах количественных различий гласных. Собственно великорусский этого не знает. Ср. [Скляренко 1988: 66–67], где заместительное продление рассматривается на материале славянских языков, сохранивших количественно-интонационные различия гласных (серб.-хорв.), но не говорится об украинских данных. Какое-то отношение может иметь к проблеме аканья фактическое тождество слав. *о* и *я*, даже первичность последнего [Vaillant 1950: 107, 233; Георгиев *etc.* 1968: 26]. Тот факт, что ослабление безударных гласных в южновеликорусском и белорусском очень поздно отразилось в письменности, говорит не только и не столько о консервативности письма [Шахматов 1908: 156; 1916: 53], сколько о том отношении взаимной компенсации, в которое вступили означенное ослабление артикуляции и консервирующая тенденция письма.

Об этом, может быть, следует сказать особо. Здесь речь пойдет, в сущности, о типологическом отличии русского языка, выделяющем его из большинства других славянских языков. Ненапряженная артикуляция (главным образом безударного вокализма) – яркая черта русского языка и его инновация, отделившая его даже от ближайше родственного белорусского языка. Парадокс в том, что оба эти языка объединяет общность аканья, однако в белорусском с его "полным аканьем" обозначилась такая самостоятельная черта, как напряженная артикуляция безударного вокализма. Результат: различия по принципу: напряженная артикуляция языка – фонетическая орфография (вспомним сербохорватский и вуковский завет "пиши као што говориш" – пиши, как говоришь), соответственно ненапряженная артикуляция языка – консервативная (историческая) орфография. См. об этом специально [Трубачев 1997, гл. III: Взгляд на этногенез белорусов, 88–89]. Там же и наблюдение о том, что русская артикуляция, выпадая из славянской в целом, напоминает принцип английской (аналогия распространяется и на консервативность письма в обоих случаях!). В связи с отмеченным кажется несколько непонятным мнение о факультативности напряженности в славянских языках [Новое в лингвистике 1962: 204 и сл.]. Переход к менее напряженной артикуляционной базе как "общая тенденция" русского языка, в том числе в плане замены оканья аканьем, характеризуется также в [Касаткин 1999: 131, 132].

Итак, опираясь в немалой степени на предшественников, мы пришли к заключению о необходимости наличия инновационного центра, даже сосредоточились на некотором вероятии подобного центра инноваций в среднезападной части южновеликорусского пространства. Имеет смысл сохранить в дальнейшем эту точку отсчета для суждений об (остальных) частях и явлениях великорусского ареала. Из них наиболее яркая и легко выделяемая – северновеликорусская часть. Вместе с тем, заинтересовавшись критериями выделения северновеликорусского наречия, мы не можем не выразить сомнений на этот счет. Во-первых, оказывается под вопросом целостность северновеликорусского наречия (в его западной и северо-восточной частях), и это признается основными исследователями, см. [Образование сев.-русск. наречия 1970: 210]. Во-вторых, они же признают, что "выделение" "будущей территории северного наречия" намечается "на основе распространения аканья" [Там же: 225, 235]. Ведь это означает ни больше, ни меньше, как то, что основной критерий выделения – отрицательный: то, куда не дошло аканье, территория, где аканья нет, поскольку никто не станет спорить с тем, что аканье шло с юга. Интересно отметить, что характеристика южного наречия заметно контрастирует с этим, нося более конкретно-позитивный характер: неразличение безударных гласных, фрикативное г (γ), отсутствие контракции (выпадения j) [Русская диалектология 1964: 239]. Но и южновеликорусские отличительные признаки не изначальны. Не только в среднерусских говорах, но и в южновеликорусском просвечивает "северновеликорусская" основа, говоря в терминах действующей диалектологии. Сказанное делает неактуальной оппозицию "северновеликорусский" ~ "южновеликорусский", поскольку ретроспективно северновеликорусский синонимизируется (оказывается тождественным) со всем изначальным великорусским, причем аканье/яканье – вторичные инновации языкового центра. Сейчас нельзя без некоторого удивления воспринимать оценки вроде того, что (по Шахматову) Е.Ф. Будде принадлежит "замечательный вывод" о том, что северная часть Рязанской области первоначально относилась к северновеликорусскому наречию (см. об этом [Сидоров 1966: 98 и сл.]), там же о северновеликорусском характере касимовских говоров в прошлом. Ведь в сущности ясно, что это банальная констатация хода южных инноваций, перекрывающих первобытные черты вроде того же оканья.

Перейдя к среднерусским говорам, мы вынуждены будем признать, что критерии их выделения не менее сомнительны, хотя высказывания в литературе в связи со среднерусскими говорами временами чрезвычайно ответственны, ср. [Горшкова 1972: 148]: только после образования среднерусских говоров можно говорить о языке в целом. Сейчас для нас подобные утверждения кажутся совершенно неприемлемыми, притом, что ясно, что они восходят к концепции "встречи" в бассейне Оки и верхнего Поволжья севернорусов и "восточнорусов" (в шахматовской терминологии – южновеликорусов) [Шахматов 1908: 25, 26], где говорится о воспоследовавшем смешении. Так, поныне действует шахматовская схема о "смешанных говорах" между северновеликорусским и южновеликорусским, их "переходном" характере [Шахматов 1908: 160, 172, 180; 1919]. Ср. следование этой концепции в [Аванесов 1947: 153; Сидоров 1966: 103; Горшкова 1972: 148]. А между тем в глаза бросается условность выделения среднерусских говоров с их распадом на акающие и окающие говоры [Русская диалектология 1964: 284, карта № 11]. Не совсем понятна, хотя и выдержана в том же духе трактовка среднерусских говоров как "окраинных" в отношении северновеликорусского и южновеликорусского наречий [Захарова, Орлова 1970: 21]. Наш вывод, к тому же сделанный отнюдь не сегодня и не вчера: концепция выделения среднерусских говоров неясна лингвогеографически [Трубачев 1987: 22]. Сегодня, пожалуй, складывается впечатление, что, постулируя особые среднерусские говоры, не думали не только о центре, но и о целостном русском языковом ареале, ибо есть все основания для того, чтобы задаться вопросом, не является ли то, что привычно называют среднерусскими говорами, в действительности зоной затухания разных инновационных волн южного центра?

Смешение языков и диалектов, как уже ясно из предыдущего, в полной мере принималось последователями Шахматова, служа заменой концепции наддиалекта. На этой основе строилось и понимание смешанных говоров городских центров, в частности Москвы, см. [Шахматов 1915: XLVIII] о смешанном говоре Москвы – из севернорусских и "восточнорусских" элементов. По своему происхождению Шахматов представлял себе говор Москвы как северновеликорусский [Макаров 2000: 207]. Все эти представления практически без изменения были восприняты последователями [Аванесов 1947: 111, 154], где также указывается на севернорусскую основу литературного языка. Впрочем, похоже, что эти идеи учителя повторялись без проверки на материале. По-видимому, духом примата севернорусской основы среднерусских говоров проникнуто положение: «Говоры на территории Московского княжества ... ничем не обнаруживают своего "вятического" ... происхождения» [Аванесов 1947: 137]. Однако сейчас мы можем судить об этих вещах несколько конкретнее, а главное – иначе, в чем нам помогает весьма содержательный "Лексический атлас Московской области" (М., 1991), где на многих картах идут южным фронтом лексические диалектизмы "литературного" облика: *огород* (карта № 3), *подпол* (карта № 11), *погреб* (карта № 12), *угол* 'угол избы' (карта № 17), *заслонка* (карта № 26), *изгородь* (карта № 28), *кочерга* (карта № 34), *корчага* (карта № 39), *миска* (карта № 42), *полдник* (карта № 60), *навес* (карта № 64), *оглобля* (карта № 74), *волокуша* (карта № 78), *чернушка* 'гриб груздь черный' (карта № 83), *сыроежка* (карта № 84), *свинушка* (карта № 88), *подберёзовик* (карта № 91), *молодняк* 'молодой лес' (карта № 93), *хворост* 'мелкий лес' (карта № 94), *сосняк* (карта № 100), *корзина* (карты №№ 130, 131), *корзинка* (карта № 132), *беседа* 'изба ... на посиделки' (карта № 136). Остается при этом вспомнить широкий археологический клин вятичей XI–XIII вв. с Юга, захватывающий все "ближнее Подмосковье", включая Москву, по В.В. Седову [Войтенко 1991: 61], сведения о чем уже приводились выше.

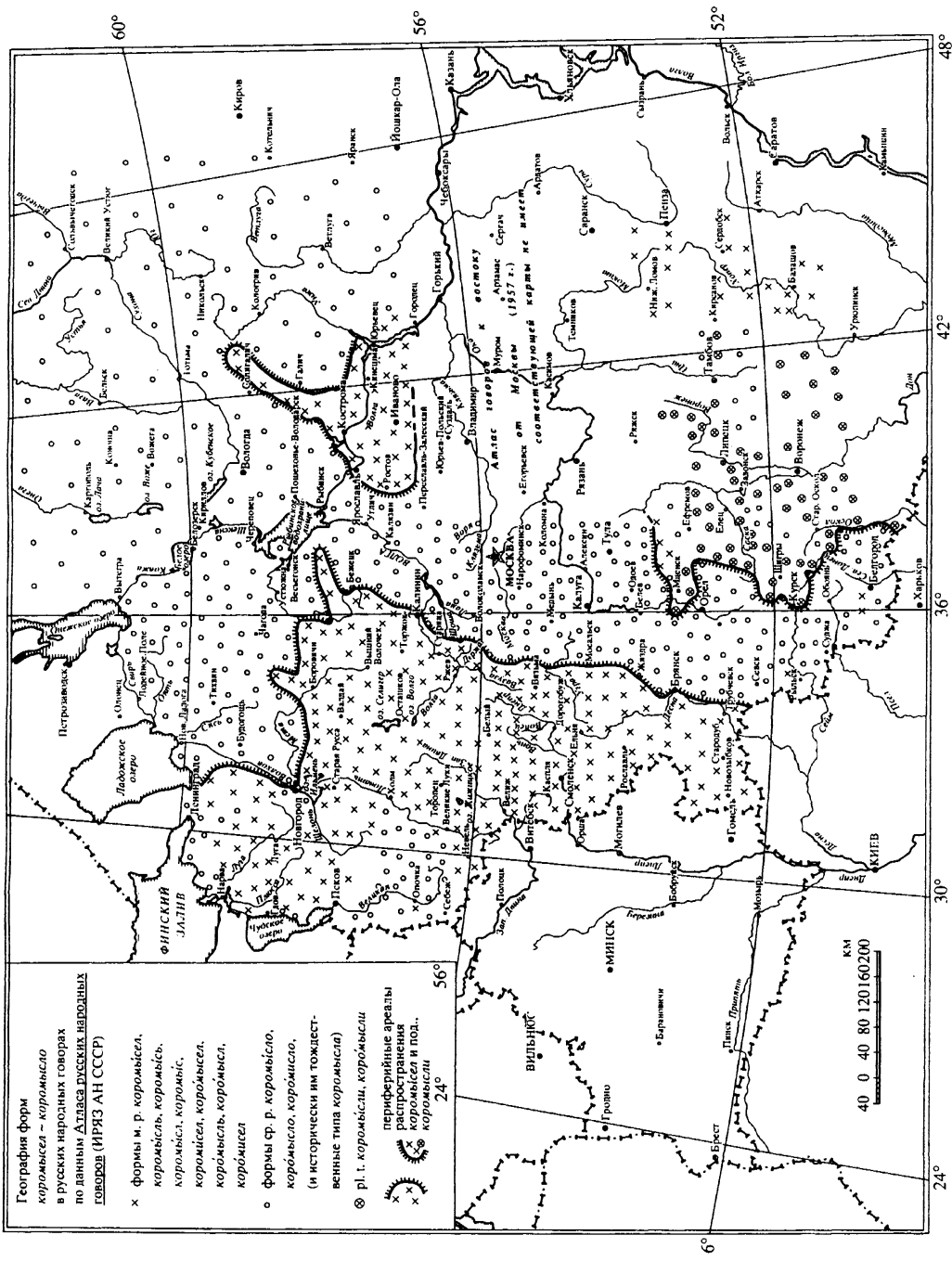
В плане лингвистической географии русский Север обнаруживает свойственные периферии архаизмы, причем немаловажно, что явления этой северной периферии перекликаются с другой периферией, южной, с аналогичными украинскими явлениями. Очевидно, что это проявление единого большого ареала, охватывавшего все позднейшие восточнославянские языки. Сюда относится сохранение звонкости согласных в конце слова в украинском и в некоторых северновеликорусских диалектах [Филин 1972: 335, 336; Касаткин 1999: 134, 137, 138], при подавляющем оглушении звонких согласных в конце слова после падения редуцированных в центре ареала, а также широко за его пределами. Отверждение согласных перед *e* и *i* в украинском [Шахматов 1908: 156], по Шахматову, – позднейшее [Шахматов 1910: 16; 1915: 127], ср. подавляющее отсутствие отверждения согласных перед *e* и *i* в великорусском [Шахматов 1908: 158], обнаруживает, однако, знаменательные соответствия в виде твердости согласных перед передними гласными на архаизирующей северной периферии, о чем см. уже [Шахматов 1915: 128]: в Судогодском уезде. Об "отверждении согласных" в этой позиции говорят и современные исследователи, указывающие на ряд северновеликорусских, вологодских говоров [Горшкова 1968: 88; Касаткин 1999: 150, 170; ДАРЯ I, карта № 65]. Вот только "отверждение" ли это или древняя твердость, сохранившаяся на архаизирующих перифериях (укр., с.-в.-р.), несмотря на все доводы Шахматова о вторичности украинского отверждения? Ср. и [Касаткин 1999: 170]: "старое состояние".

Более строгий и последовательный учет лингвогеографического аспекта в сочетании со сравнительно-историческим критерием способен, очевидно, внести коррективы в изучение диалектов на всех уровнях, в частности, в области периферийных архаизмов морфологического и лексического характера. Знакомство с тем, что сделано, показывает реальность таких коррективов, ср., например, отнесение форм мн. числа ср. рода *око́шка*, *теля́тка* к числу северновеликорусских "инноваций" [Образование сев.-русс. наречия 1970: 218–219, карта № 63]. Ясно, со всех точек зрения, что это архаизм.

Досадное урезание картографируемого русского диалектного пространства примерно к северу от 62-й параллели составителями наших диалектологических атласов, которое невозможно оправдать никакой "редкостью заселения" и в результате которого из общего поля зрения как бы выпал поморский Север, освоенный тысячу лет назад, лишило нас многих полезных наблюдений и материалов, и это касается архаизмов периферийной лексики. К счастью, положение отчасти помогают поправить дополнительные работы вроде "Лексического атласа Архангельской области" Л.П. Комягиной [Комягина 1994] тем более, что лексическая сторона диалектов в общем традиционно несколько недооценивалась нашими диалектологами и составителями центральных атласов. Так, древнее диал. *клюка* 'кочерга', как будто не учтенное в ДАРЯ III (лексика), фиксируется в [Комягина 1994: 204, карта № 170] и обратило на себя внимание еще Даля, который охарактеризовал курьезным образом наше северное слово как "малорусское" [Даль 1852: LI], что позволяет определить в современных терминах отношение с.-в.-р. *клюка* и укр. *клюка* как периферийные, латеральные архаизмы еще общевосточнославянского арсала.

Составители ДАРЯ оставили, кажется, без внимания русское продолжение еще праславянского слова **koporul'a*, обозначение заостренной палки, мотыги, лопатки и т.п., см. о нем [Варбот 1974: 56 и сл.; ЭССЯ 11: 21 и сл.]. Его продолжения и на русской почве ведут себя как архаизм, ср. диал. (арханг.) *копоруля* [Комягина 1994: 154, карта № 120], а также диал. (моск.) *копырюля* [Войтенко 1991: 134; 1997: 50]. Эти отношения были бы неполными без архангельских данных.

Чрезвычайно интересен случай, привлечший наше внимание уже давно и призванный восполнить одну из лакун сводного центрального атласа. Имеется в виду еще праславянский лексический диалектизм (локализм) **kъrmyslъ* / **čъrmyslъ*. Первый вариант известен только в восточнославянском (русс., укр., блр.), зафиксирован также в древнерусских памятниках, второй – **čъrmyslъ* – обнаруживает продолжения только в кашубских говорах, и там, и тут – в значении 'приспособление для ношения, подвешивания', см. специально [Трубачев 1974: 35 и сл.; 1987: 22–23; ЭССЯ 4: 149; ЭССЯ 13: 228–229]. Карты "коромысло, коромысел" в кратком, сводном ДАРЯ, к сожалению, не оказались. См. только косвенные данные в других тематических картах №№ 29, 52 [ДАРЯ III (лексика) и Комментарий], однако специальная карта на тему этого слова показалась важной, в частности, для лексики литературного языка и для проблемы среднего рода в том числе, поэтому я позволил себе опубликовать здесь имеющуюся у меня карту, основанную как на "Атласе русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы" (М., 1957, сводная карта № 13), так и на неизданных томах ("З", карта № 358; "С", карты №№ 368, 369; "С–З", карта № 150; "Ю", карта № 257). Смею надеяться, что публикуемая карта (см.) представляет не только "архивный" интерес, ибо уже с первого взгляда видно, что карта "получилась" в соответствии с самыми строгими требованиями лингвистической географии. На ней четко представлены две главных периферийных (латеральных) зоны с продолжениями более древней формы муж. рода **kъrmyslъ* – западная, сопредельная с однотипными украинскими и белорусскими данными, и восточная, несколько более прерывистая (вообще фиксация здесь восточной периферии в принципе интересна). Основной же сюжет карты – выявление подобия неширокого коридора, вытянутого в направлении ЮЗ–СВ, в южновеликорусских говорах, с расширением в средневеликорусских говорах и с абсолютным господством в северновеликорусском. Всю эту центральную фигуру занимает инновационная форма ср. рода *коромы́сло*. Кроме историко-лингвистического и, может быть, культурно-исторического значения этих сведений по истории вариантов *коромы́с(е)л* ~ *коромы́сло*, здесь проступает и аспект общей судьбы среднего рода, об утрате которого в южновеликорусском обычно идет речь, ср. обо "всех" орловских говорах [Котков 1951а: 567], о морфологических "рязанизмах" типа *какáйя молоко́* – к востоку от меридиана Орел – Курск [Захарова, Орлова 1970: 105, карта № 18^б]. Случай довольно мощной и влиятельной инновации *коромы́сло* ср. рода, попавшей в



литературный язык и иррадиированной все тем же Югом, как кажется, может свидетельствовать, что упомянутая "утрата среднего рода" – инновация совсем новая, уже не дошедшая до литературного языка.

Давно назрела необходимость пересмотра привычных утверждений о существовании лексических оппозиций типа с.-в.-р. *изба* – ю.-в.-р. *хата*, с.-в.-р. *конь* – ю.-в.-р. *лошадь* и т.п. Эти оппозиции, к тому же, бывают призваны подкреплять далекоидущие выводы о преимущественно северновеликорусской основе русского национального языка, – выводы, также заслуживающие пересмотра. По этой проблеме уместно широко процитировать С.И. Коткова, который в наибольшей степени способствовал пересмотру укоренившихся традиций и показал значительность южновеликорусского вклада в общенародный язык, даже несмотря на относительно поздний возраст южновеликорусской письменности (в основном – с XVI в.). Исследования, в частности, показали, что так называемые "типично северные" слова *выть*, *изба*, *кулига*, *конь*, *петух*, *лонской* – все обнаружены в старой южновеликорусской деловой письменности [Котков 1980: 7, 23, 129]. Сказанное относится почти ко всем якобы северным словам, ср. по данным южновеликорусской письменности XVI–XVII вв. о наличии там слов *изба*, *хлев*, *конь* уже в [Котков 1951а: 749]. Столь же пресловутая оппозиция с.-в.-р. *сарафан* ~ ю.-в.-р. *понёва* тоже элементарно не выдерживает исторической да и ареальной экспертизы. *Сарафан* первоначально обозначало, к тому же, общую или мужскую одежду, см. [СлРЯ XI–XVII вв., 23: 64], в качестве названия женской одежды зафиксировано вторично с XVII в. Важно также иметь в виду, что слово, в конечном счете, пришло с Юга, заимствовано из персидского языка [Фасмер 1996, III: 561; Черных 1994, II: 140].

В шахматовском наследии довольно видное место занимает еще одно положение, которое вряд ли может быть сохранено, хотя оно и продолжает сохраняться в литературе предмета без должной критики: это концепция великорусской народности как суммы двух различных групп, в терминах ученого – севернорусской и "средне-русской", то есть южновеликорусской [Шахматов 1899: 38], концепция всего великорусского как "результата позднейшего сожительства" [Шахматов 1916: 107]. Эта двухналичная схема великорусской народности и языкового ареала (хотя современное понятие "языкового ареала" вообще вряд ли подходит для подобной концепции) излагалась ученым порой очень императивно, например: "... великорусская народность – это научная фикция..." [Шахматов 1899: 48], общность языка и народа он относит "только к позднейшей эпохе жизни обеих групп" [Шахматов 1910: 501], всячески акцентируя исконное отличие друг от друга северновеликорусской и южновеликорусской групп [Там же: 498, 501], разумеется, с последующим сближением и смешением [Шахматов 1899: 8]. Я не буду больше вдаваться в критический разбор этого положения, которое до сих пор числят среди достижений ученого [Макаров 2000: 199]. Как бы то ни было, это, по-видимому, произвело сильное впечатление в свое время и оставило глубокий след до сих пор.

Влияние Шахматова было огромно; под него подпала и молодая украинская диалектология. Собственно, уже сам великий ученый распространил свою двухналичную схему, признав деление украинского языка на две ветви – северную и южную – исконным [Шахматов 1899: 7]. Мне и раньше приходилось писать о том, что подобная двухналичная схема со смешанными или переходными говорами между этими наречиями надолго, если не навсегда, отодвинула поиски жизненно важного центра ареала [Трубачев 1997: 93, 95]. Именно на этой почве возшла гетерогенная версия русского глоттогенеза Хабургаева 1980 г., обретшая незаслуженную популярность в смежных дисциплинах (ср. [Седов 1982: 273]), хотя ведь совершенно очевидно сомнительная теоретическая ценность такого прибавления в нашей науке. Но шахматовский "первотолчок" все еще действует, поскольку попытки софистизировать проблему состава (древне)русского языкового ареала не прекращаются, вспомним искания вокруг древненовгородского диалекта, который в новых исследованиях порой оказы-

вается уже не русским, а (пра)славянским без объективной на то надобности. Искренние помыслы великого ученого, которого отделяет от нас – скоро уже – доброе столетие, все же, думается, не подлежат эпигонскому тиражированию, требуя трезвого рассмотрения, тем паче – запоздалые опыты в том же духе.

Чтобы покончить с украинским экскурсом, вспомним о "Диалектологической классификации украинских говоров" В. Ганцова 1923 года, относимой поныне к классике в этой области: диалектное деление украинской языковой территории на северные и южные говоры с говорами переходного типа между ними, все это – с полными русскими аналогиями [Ганцов 1923: 54, 55, 56, 58 с картой]. В конце концов Ганцов и сам признает "извечное отличие" двух наречий украинского языка и их прозрачную аналогию отношениям северновеликорусского и южновеликорусского пересадкой шахматовского учения на украинскую почву [Там же: 64].

Возвращаясь, в заключение своего очерка к идее сложного состава древнерусского пространства и языка, вижу, что будет отнюдь не лишним повторить, что эта сложность (как и полидиалектность) отнюдь не противоречит идее единства и уж, разумеется, не "взламывает" ее. При этом мы как бы вновь возвращаемся именно к идее единства – на новом этапе. Разумеется, далее, на этом новом этапе не может быть речи о синонимичности этого единства и "монолитности", поскольку наше единство, обогащенное идеей полидиалектности, ну, и само собой – всем комплексом идей лингвистической географии, о котором достаточно – выше, просто запрещает имплицировать эту монолитность или, скажем, приписывать ее нам. Так что ни о какой альтернативе – или "монолитность", или поиски особой ниши для древненовгородского "просто как диалекта позднеславянского языка" [Зализняк 1995: 5] – речь вестись не должна, тем более – для эпохи XII–XIII вв.! Ср. еще [Трубачев 1999: 11]. Поэтому сейчас сражаться с "концепцией православнославянского языка как генетически монолитного..." [Зализняк 1988: 176] не стоит, ведь так сейчас, пожалуй, никто уже активно не думает, что же до различий, скажем, между славянокривичским и югозападнорусским, то современной концепции сложного единства (см. выше) они нисколько не противоречат, укладываясь в понятие периферий древнерусского лингвогеографического ареала. Оживлять для этого идеи новгородско-севернокривичско-западнславянской (лехитской) близости тоже не требуется. Тем более – оперировать для этого явными общими архаизмами вроде сохранения *dl* на Северо-Западе русского ареала и на Западе славянства ввиду общеизвестной непоказательности общих архаизмов для общих переживаний или "общего" непалатализованного наличия *kě-, xě-, kvě-*, где филигранная историко-диалектологическая проверка восстанавливает вероятность развития русск. диал. *квет < t'v'ѣт < цв'ѣт* (так еще Шахматов!) и *кедить* из *цедить* и псковск. диал. *малако́ тѣла 'цело'*, то есть псевдоархаизмы [Страхов 1999: 287; Шустер-Шевц 1998: 3 и сл.].

С другой стороны, никогда не лишне помнить нечасто повторяемые идеи о восточнославянском как сугубой периферии всего славянского ареала, взять хотя бы архаичность (sic!) канонически посметатезной формулы *torot, tolol (tarat, talat)*, а не *tort, tolt*, для чего, конечно, желательна инновативность лингвистического мышления, а не его архаичность, удобно укладывающаяся в накатанную колею.

III

("То есть середя земли моеи...")

С прошествием времен прямоугольник русского языкового и этнического пространства постепенно менял свои очертания. Древний русский меридиональный прямоугольник, сурово зажатый и урезаемый с Востока и Юго-Востока первоначально чужим Поволжьем и Степью, уходил и ширился лишь на север, и вот Севером, с запада на восток пошло его новое прирастание. За это время и Поволжье породнилось, и Степь замирилась. А русский прямоугольник незаметно, из века в век из

меридионального превратился в широтный, несказанно вырос и ушел за уральский горизонт. Иные назовут это (даже в ученом мире) русским ассимиляторством, но у тех, кто знает, находились для этого другие слова. С переселенцами из Европейской России (а в их числе были не одни новгородцы, но и "семейские", жители с берегов Сейма в курских, вятских краях и, разумеется, из других мест) на восток, к туземцам Сибири шло земледелие. Одной этой черты хватит для правильного взгляда на вещи.

А центр – конечно, не геометрический, впрочем, и не политический тоже, как мы это пытались показать – так и остался, как был, на старом месте, на Русской равнине, в вятчско-рязанской земле. Асимметричность сложившейся фигуры, как и ряды парадоксов, рассмотренные выше, – без них вятчи-рязанцы, кажется, не были бы самими собой, есть тоже проявление самобытности. И мы возвращаемся всякий раз, ведомые научным или не только научным интересом, в "эту чахленькую местность", вместе со "своим", рязанским поэтом. Все – так же, все на месте, все те же, *mutatis mutandis*, вятчи, и сквернословят, как при Несторе, если не хуже. Но это – с одной стороны. С другой стороны – все остальное, может быть – главное: способность оставаться Центром – языка, народа, не последняя способность да и не всем дана. Мы всегда отыщем эту небольшую землю в сердце гигантской по-прежнему России, и наш взор, остановившись на ней, теплеет. На ум приходят опять есенинские, пронзительные слова: "Затерялась Русь в мордве и чуди, / Нипочем ей страх". А они, действительно, так и не дождавшись хорошего качества жизни, страха не имеют. Вот почему так долго с вятчами возились и Святослав, и Владимир Мономах. Вот почему, видно, именно в вятчской земле простерлись ратные поля – Куликово и Прохоровское. Будто кто-то продолжает их испытывать. Но и другие, пришедшие из древности, слова ложатся при этом на душу: "То есть середя земли моеи..." Сказанные когда-то о другом, о Подунавье, они просятся сюда – о вятчах, возможно, тоже с Дуная пришедших.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов Р.И. 1947 – Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник МГУ 1947. № 9.
- Аванесов Р.И. 1949 – Очерки русской диалектологии. Часть первая. М., 1949.
- Бородин М.А. 1968 – Лингвистическая география // Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968.
- Варбот Ж.Ж. 1974 – К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. II / Этимология. 1972. М., 1974.
- Веселовский С.Б. 1974 – Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища, фамилии. М., 1974.
- Войтенко А.Ф. 1991 – Лексический атлас Московской области. М., 1991.
- Войтенко А.Ф. 1997 – Лексические различия на территории Московской области (лексико-графическая, лексикологическая и лингвогеографическая характеристики): Дис. ... док. филол. наук. М., 1997.
- Ганцов В. 1923 – Діалектологічна класифікація українських говорів. Київ, 1923 (Nachdruck von R. Olesch. Köln, 1974).
- Георгиев В.И. etc 1968 – Георгиев В.И., Журавлев В.К., Филин Ф.П., Стойков С.И. Общеславянское значение проблемы аканья. София, 1968.
- Горшкова К.В. 1968 – Очерки исторической диалектологии Северной Руси (по данным исторической фонологии). М., 1968.
- Горшкова К.В. 1972 – Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
- Даль В.И. 1852 – О наречиях русского языка, по поводу Опыта областного великорусского словаря, изданного Вторым отделением имп. Академии наук. Из V книжки "Вестника Имп. Русского Геогр. Об-ва за 1852 г., с небольшими поправками против первого изд. // В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955 (со второго изд. 1880–1882 гг.).
- Даркевич В.П. 1993 – Путешествие в Древнюю Рязань. Записки археолога. Рязань, 1993.
- ДАРЯ I 1986 – Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. I: Фонетика / Под ред. Р.И. Аванесова и С.В. Бромлей. М., 1986.

- ДАРЯ II 1989 – Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. II: Морфология / Под ред. С.В. Бромлей. М., 1989.
- ДАРЯ III 1996 – Диалектологический атлас русского языка (Центр Европейской части СССР). Вып. III (часть I) / Под ред. О.Н. Мораховской. М., 1996.
- Диал. исследования 1977 – Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977.
- Зализняк А.А. 1988 – Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.
- Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Зализняк А.А. 1998 – Проблемы изучения берестяных грамот // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.
- Захарова К.Ф., Орлова В.Г. 1970 – Диалектное членение русского языка. М., 1970.
- Иловайский Д. 1858 – История Рязанского княжества. М., 1858.
- Касаткин Л.Л. 1999 – Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.
- Касаткина Р.Ф. 2000 – Южнорусское наречие. Новые данные // ВЯ. 2000. № 3.
- Комягина Л.П. 1994 – Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994.
- Котков С.И. 1951а – Говоры Орловской области (фонетика и морфология): Дис. ... док. филол. наук. Т. I–II. М., 1951.
- Котков С.И. 1951б – Из истории изучения орловских говоров. Говоры Орловской области со стороны их вокализма // Уч. зап. Орловского гос. пед. ин-та. Т. V. Вып. 2. Орел, 1951.
- Котков С.И. и др. 1978 – Памятники русской письменности XV–XVI вв. Рязанский край / Издание подгот. С.И. Котков, И.С. Филиппова. М., 1978.
- Котков С.И. 1980 – Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980.
- Кузьмин А.Г. 1965 – Рязанское летописание. Сведения о Рязани и Муроме до середины XVI в. М., 1965.
- Ляпушкин И.И. 1968 – Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства (VIII – первая половина IX в.). Л., 1968.
- Макаров В.И. 2000 – "Такого не бысть на Руси прежде"... Повесть об академике А.А. Шахматове. СПб., 2000.
- Медынцева А.А. 1979 – Тмутараканский камень. М., 1979.
- Медынцева А.А. 1988 – Эпиграфические находки из Старой Рязани // Древности славян и Руси. Сборник в честь 80-летия Б.А. Рыбакова. М., 1988.
- Монгайт А.Л. 1961 – Рязанская земля. М., 1961.
- Насонов А.А. 1951 – "Русская земля" и образование территории древнерусского государства. Историко-географическое исследование. М., 1951.
- Никольская Т.Н. 1981 – Земля вятичей. К истории населения бассейна верхней и средней Оки в IX–XIII вв. М., 1981.
- Никонов В.А. 1966 – Краткий топонимический словарь. М., 1966.
- Новое в лингвистике 1962 – Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962.
- Образование сев.-русс. наречия 1970 – Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров по материалам лингвистической географии / Отв. ред. В.Г. Орлова. М., 1970.
- Орфоэп. словарь 1997 – Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. Около 65000 слов / Под ред. Р.И. Аванесова. 6-е изд., стереотип. М., 1997.
- Осипова Е.П. 1999 – Наименования одежды в рязанских говорах (этнолингвистический и лингвогеографический аспекты): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1999.
- Повесть временных лет 1978 – Повесть временных лет // Памятники литературы древней Руси. XI – начало XII века / Сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. М., 1978.
- Рождественская Т.В. 1994 – Эпиграфические памятники Древней Руси X–XV вв.: Дис. ... док. филол. наук. СПб., 1994.
- Русская диалектология 1964 – Русская диалектология / Под ред. Р.И. Аванесова, В.Г. Орловой. М., 1964.
- Русская диалектология 1989 – Русская диалектология / Под ред. Л.Л. Касаткина. 2-е изд. М., 1989.
- Рыбаков Б.А. 1982 – Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982.

- Рязанская энциклопедия 1995 – Рязанская энциклопедия. Рязань, 1995.
- Седов В.В. 1982 – Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.
- Седов В.В. 1999 – Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 1999.
- Сидоров В.Н. 1966 – Из истории звуков русского языка. М., 1966.
- Скляренко В.Г. 1998 – Праслов'янська акцентологія. Київ, 1998.
- Смолицкая Г.П. 1976 – Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М., 1976.
- СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1 –, М., 1975 –.
- Страхов А.Б. 1999 – Новгородские и псковские "переходы" *мл' > н', tl > кл, dl > гл*: альтернативные решения // PALAEOSLAVICA VII, 1999.
- Татищев В.Н. 1962 – История российская. Т. I. М.; Л., 1962.
- Тихомиров М.Н. 1956 – Древнерусские города. 2-е изд. М., 1956.
- Третьяков П.Н. 1953 – Восточнославянские племена. 2-е изд., перераб. и расшир. М., 1953.
- Трубачев О.Н. 1959 – Лингвистическая география и этимологические исследования // ВЯ. 1959. № 1.
- Трубачев О.Н. 1971 – Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східно-слов'янської топонімії // Мовознавство. 1971. № 6.
- Трубачев О.Н. 1974 – Наблюдения по этимологии лексических локализов (славянские этимологии 48–52) // Этимология. 1971. М., 1974.
- Трубачев О.Н. 1987 – Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI–XVII вв. М., 1987.
- Трубачев О.Н. 1991 – Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
- Трубачев О.Н. 1994 – Праславянское лексическое наследие и древнерусская лексика дописьменного периода // Этимология 1991–1993. М., 1994.
- Трубачев О.Н. 1997 – В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. 2-е изд. доп. М., 1997.
- Трубачев О.Н. 1982–1997 – Отзыв официального оппонента о диссертации Н.И. Панина "Лексикосемантический и формантный анализ русских наименований текучих вод Окско-Донской равнины и прилегающих территорий", представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1982, и дополнения 1997 (рпк.).
- Трубачев О.Н. 1998 – Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.
- Трубачев О.Н. 1999а – INDOARICA в Северном Причерноморье. Реконструкция реликтов языка. Этимологический словарь. М., 1999.
- Трубачев О.Н. 1999б – Славистика на XII Международном съезде славистов (краткий обзор) // ВЯ. 1999. № 3.
- Туников Н.М. 1903 – Словарь древнерусских личных собственных имен // Зап. Отделения русской и славянской археологии имп. Русского Археологического общества. Т. VI. СПб., 1903.
- Унбегаун Б.О. 1989 – Русские фамилии. М., 1989.
- Фасмер М. 1996 – Этимологический словарь русского языка в четырех томах / Перевод с нем. и доп. О.Н. Трубачева. 3-е изд., стереотип. СПб., 1996.
- Филин Ф.П. 1972 – Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.
- Черных П.Я. 1994 – Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I–II. М., 1994.
- Чумакова Ю.П. 1992 – Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. Уфа, 1992.
- Шахматов А.А. 1899 – К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей // ЖМНП. 1899, апрель.
- Шахматов А.А. 1908 – Курс истории русского языка. Ч. I. 2-е изд. СПб., 1908.
- Шахматов А.А. 1910 – Курс истории русского языка. Ч. II. СПб., 1910.
- Шахматов А.А. 1915 – Очерк древнейшего периода истории русского языка // Энциклопедия славянской филологии. Пг., 1915 (Вып. 11.1.).

- Шахматов А.А.* 1916 – Введение в курс истории русского языка. Ч. I: Исторический процесс образования русских племен и наречий. Пг., 1916.
- Шахматов А.А.* 1919 – Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919.
- Шустер-Шевц Х.* 1998 – К вопросу о так называемых праславянских архаизмах в древне-новгородском диалекте русского языка // ВЯ. 1998. № 6.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков I –. М., 1974 –.
- Етим. словник 1985 – Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Відпов. ред. О.С. Стрижак. Київ, 1985.
- Hydronimia Wisły* 1965 – *Hydronimia Wisły*. Cz. I: Wykaz nazw w układzie hydrograficznym / Pod red. P. Zwolińskiego. Wrocław etc. 1965.
- Lehr-Splawiński T.* 1921–1957 – Stosunki pokrewieństwa języków ruskich // Rocznik slawistyczny IX, I, 1921 // T. Lehr-Splawiński. *Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego*. Warszawa, 1957.
- Rymut K.* 1987 – Nazwy miast Polski. Wyd. 2. Wrocław etc., 1987.
- Shevelov G.J.* 1982 – Между праславянским и русским // RL. 1982. № 6.
- Trubačev O.N.* 1977 – Sprachgeographie und etymologische Forschungen // Etymologie. Darmstadt, 1977.
- Vaillant A.* 1950 – Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonétique. Paris, 1950.
- Vanagas A.* 1981 – Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.